

№ 28 (198). 14 июля 1929 года. № 28 (198).

АНТОН ПАВЛОВИЧ ЧЕХОВ.



А. П. Чехов с сестрой и братом.

Редкий снимок.

Юр. Соболев.

ЧЕХОВСКАЯ РОССИЯ.

„Россия—страна кзвенная“.

А. Чехов.

„Плохо вы живете, господа,—стыдно так жить“.

М. Горький. (Воспоминания о Чехове).

Лев Толстой говорил о Чехове: «Чехова, как художника, нельзя даже и сравнивать с прежними русскими писателями — с Тургеневым, с Достоевским или со мной. У Чехова своя особенная форма, как у импрессионистов. Смотришь, человек будто без всякого разбора мажет красками, какие попадутся ему под руку и никакого, как-будто, отношения эти мазки между собой не имеют. Но отойдешь, посмотришь, и в общем получается удивительное впечатление. Перед вами яркая, неотразимая картина». Неотразимая картина встает перед нами не потому только, что ее отдельные подробности зарисованы тончайшей кистью художника-импрессиониста. Форма чеховского рассказа равнозначна его содержанию. От случая к случаю, от эпизода к эпизоду. Как-будто бы — всё раздроблено, всё — только кадры гигантской киноленты. Но стоит только сложить эпизоды, собрать раздробленное, и перед нами единая картина, имя которой «Чеховская Россия». Россия определенного отрезка истории —

последней четверти XIX века. Время жестокой политической реакции. Сумерки «малых дел», унылых жалоб и неясных мечтаний.

Будущий историк, изучая весь комплекс причин, ведущих к неизбежной гибели и распаду эту предреволюционную Россию, не сможет пройти мимо Чехова: в его произведениях найдет он драгоценнейшие свидетельства, оставленные крупнейшим художником России конца XIX века, свидетельство, удостоверяющее лживость и дряблость, пустоту и отсутствие «общей идеи — бога живого человека», что было отличительным признаком того явления, которое мы называем сейчас «чеховщиной».

В этом опыте лит.-монтажа мы пытаемся показать чеховскую Россию такой, какой ее видел сам Чехов. Город, деревня, фабрика; интеллигенция, так богато представлена в образах адвокатов и врачей, инженеров и педагогов, архитекторов и промотавшихся помещиков, либеральных офицеров и обюрократившихся чиновников; невежественные, безграмот-

ные обманутые, обворованные «начальством» мужики; задыхающиеся в смраде и духоте, жестоко эксплуатируемые фабричные рабочие; деревенские кулаки и «образованные купцы», самодовольные собственники и наивные мечтатели; забытые дети, обманутые девушки, — как много тупого, гнетущего и злого, как много страданий, слез и робких надежд. Какая сильная, какая страшная картина. Вот он, быт жареного гуся и мягкой перины! Вот он, мир, по которому бродят не люди, а какие-то серые пятна. И какое печальное, осеннее небо над этой равниной, по которой скачет, по слову Чехова, лихой человек. Даже природа грустит; степь жалуются и страстно зовет «певца, певца».

Вот «чеховский» пейзаж:

... Луг постепенно переходил в болото. Под ногами всхлипывала вода и ржавая осока, все еще зеленая и сочная, склонялась к земле, как бы боясь, что ее затопчут ногами. За болотом, на берегу Песчанки стояли ивы, а за ивами в тумане синела господская рига. Чувствовалась близость того несчастного, ничем не предотвратимого времени, когда поля становятся темны, земля грязна и холодна, когда плакучая ива кажется еще печальнее и по стволу ее ползут слезы, и лишь одни журавли уходят от общей беды. Да и те, точно боясь оскорбить унылую природу выражением своего счастья, оглашают поднебесье грустной, тоскливой песней. («Свирель»).

... Песня тихая, тягучая и заунывная, похожая на плач, и едва уловимая слухом, слышалась то справа, то слева, то сверху, то из-под земли, точно над степью носился невидимый дух и пел. Егорушке, когда он прислушался, стало казаться, что это пела трава. В своей песне она, полумертвая, уже погибшая, без слов, но жалобно и искренно убеждала кого-то, что она ни в чем не виновата, что солнце выжгло ее понапрасну. Она уверяла, что ей страстно хочется жить, что она еще молода и была бы красивой, если бы не зной и не засуха; вины не было, но она все-таки просила у кого-то прощенья и клялась, что ей невыносимо больно, грустно и жалко себя. («Степь»).

ДЕРЕВНЯ.

Село Уклеево лежало в овраге, так что с шоссе и со станции железной дороги видны были только колокольни и трубы ситце-набивных фабрик. Когда прохожие спрашивали, какое это село, то им говорили:

— Это то самое, где дьячок на похоронах всю икру с'ел.

Как-то на поминках у фабриканта Костюкова старик-дьячок увидел среди закусок зернистую икру и стал есть ее с жадностью, его толкали, дергали за рукав, но он словно околел от наслаждения: ничего не чувствовал и только ел. С'ел всю икру, а в банке было фунта четыре. И прошло уж много времени с тех пор, дьячок давно умер, а про



К. РОТОВ.

Иллюстрация к рассказу «Унтер Пришибеев».

икру все помнили. Жизнь ли была так бедна здесь, или люди не умели подмести ничего, кроме этого неважного события, происшедшего десять лет назад, а только про село Уклево ничего другого не рассказывали.

В нем не переболела лихорадка, и была топкая грязь даже летом. («В овраге»).

...В деревне Пестрове все крестьяне продали избы и все свое имущество и переселились в Томскую губернию, но не доехали и возвратились назад. Здесь, понятно, у них ничего уже нет, все теперь чужое; поселились они по три и четыре семьи в одной избе, так что население каждой избы не менее 15 человек обоего пола, не считая малых детей, и в конце концов есть нечего, голод, поголовная эпидемия голодного или сыпного тифа; все буквально больны. Фельдшерница говорит: придешь в избу и что видишь? Все больны, все бредят, кто хохоchet, кто на стену лезет; в избах смрад, ни воды подать, ни принести ее некому, а пищей служит один мерзлый картофель. («Жена»).

...Ночью у помещика разобрали стену в амбаре и вытащили двадцать кувалд ржи. Когда утром помещик узнал, что у него такой криминал случился, то сейчас бух губернатору телеграмму, потом другую, бух прокурору, третью — исправнику, четвертую — следователю... Известно, кляузников боятся... Начальство всполошилось, и началась катавасия. Две деревни обыскали.

В течение лета и зимы бывали такие часы и дни, когда казалось, что эти люди живут хуже скотов, жить с ними было страшно; они грубы, нечестны, грязны, нетрезвы, живут несогласно, постоянно ссорятся, потому что не уважают, боятся и не подозревают друг друга. Кто держит кабаки и спаивает народ? Мужик. Кто растрачивает и пропивает мирские, школьные, церковные деньги? Мужик. Кто украл у соседа, поджег, ложно показал на суде за бутылку водки? Кто в земских и других собраниях первый ратует против мужиков? Мужик. Да, жить с ними было страшно, но все же они люди, они страдают и плачут, как люди, и в жизни их нет ничего такого, чему нельзя было бы найти оправдание. Тяжкий труд, от которого по ночам болит все тело, жестокие зимы, скудные урожаи, теснота, а помощи нет и неоткуда ждать ее. Те, которые богаче и сильнее их, помочь не могут, так как сами грубы, нечестны, нетрезвы и сами бранятся также отвратительно; самый мелкий чиновник или приказчик обходится с мужиками, как с бродягами, и даже старшинам и церковным старостам говорит «ты», и думает, что имеет на это право. Да и может ли быть какая-нибудь помощь или добрый пример от людей корыстолюбивых, жадных, развратных, ленивых, которые наезжают в деревню только затем, чтобы оскорбить, обобрать, напугать? («Мужики»).

Приехал барин, — так в деревне называли станового пристава. О том, когда и зачем он придет, было известно за неделю. В Жукове было только сорок дворов, но недоимки, казенной и земской, накопилось больше двух тысяч.

Скоро он уехал. Не успел он отъехать и одну версту, как Антип Седелников уже выносил из избы Чикильдеевых самовар. В двух-трех домах забрали за недоимку кур и отправили в волостное правление, и там они поволокли, так как их никто не кормил; забрали овец и, пока везли их связанных, перекладывая в каждой деревне на новые подводы, одна издохла. И теперь решали вопрос: кто виноват?

— Земство! — говорил Осип. — Кто ж!

— Известно, земство.

Земство обвиняли во всем — и в недоимках, и в притеснениях, и в урожае, хотя ни один не знал, что значит земство. И это пошло с тех пор, как богатые мужики, имеющие свои фабрики, лавки и постоянные дворы, побывали в земских гласных, остались недовольны и потом в своих фабриках и трактирах стали бранить земство.

(«Мужики»).

Цыбукин, Григорий Петров, епифанский мещанин держал бакалейную лавочку, но это только для вида, на самом же деле торговал водкой, скотом, кожами, хлебом в зерне, свиньями, торговал чем придется, и когда, например, за границу требовались для дамских шляп сороки, то он наживал на каждой паре по тридцати копеек; он скупал лес на сруб, давал деньги в рост, вообще был старик оборотливый.

В заговенье или в престольный праздник, который продолжался три дня, сбывали мужикам протухлую солонину с таким тяжким запахом,



К. ЕЛИСЕЕВ.

Иллюстрация к рассказу «Злоумышленник».

что трудно было стоять около бочки, и принимали от пьяных в заклад косы, шапки, женины платки, в грязи валялись фабричные, одурманенные плохой водкой, и грех, казалось, сгустившись, уже туманом стоял в воздухе. («В овраге»).

Медицинские пункты, школы, библиотечки, аптечки, при существующих условиях, служат только порабошению.

— Не то важно, что Анна умерла от родов, а то, что все эти Анны, Мавры, Пелагии с раннего утра до потемок гнут спины, болеют от непосильного труда, всю жизнь дрожат за голодных и больных детей, всю жизнь боятся смерти и болезней, всю жизнь лечатся, рано блекнут, рано старятся и умирают в грязи и в вони; их дети, подрастая, начинают ту же музыку, и так проходят сотни лет, и миллиарды людей живут хуже животных — только ради куса хлеба, испытывая постоянный страх. Вы приходите к ним на помощь с больницами и школами, но этим не освобождаете их от пут, а, напротив, еще больше порабощаете, так как, внося в их жизнь новые предрассудки, вы увеличиваете число их потребностей, не говоря уже о том, что за мужики и за книжки они должны платить земству и, значит, сильнее гнуть спину.

Грамотность, когда человек имеет возможность читать только вывески на кабаках да изредка книжки, которых не понимает, — такая грамотность держится у нас со времен Рюрика; гоголевский Петрушка давно уже читает, между тем, деревня, какая была при Рюрике, такая и осталась до сих пор. Не грамотность нужна, а свобода для широкого проявления духовных способностей. Нужны не школы, а университеты. («Дом с мезонином»).

Марья Васильевна думала все о школе, о том, какая будет задача на экзамене — трудная или легкая. И ей было досадно на земскую управу, в которой она вчера никого не застала. Какие беспорядки! Вот уже два года, как она просит, чтобы уволили сторожа, который ничего не делает, грубит ей и бьет учеников, но ее никто не слушает. Председателя трудно заставить в управе, а если застанешь, то он говорит со слезами на глазах, что ему некогда; инспектор бывает в школе раз в три года

и ничего не смыслил в деле, так как раньше служил по акцизу, и место инспектора получил по протекции; училищный совет собирается очень редко и неизвестно, где собирается; попечитель — малограмотный мужик, хозяин кожевенного заведения, неумен, груб и в большой дружбе со сторожем, — и бог знает, к кому обращаться с жалобами и за справками... («На подводе»).

Сколько разговоров про школы, сельские библиотеки, про всеобщее обучение, но ведь если бы все эти знакомые инженеры, заводчики, дамы не лицемерили, а в самом деле верили, что просвещение нужно, то они не платили бы учителям по 15 рублей в месяц, как теперь, и не морили бы их голодом. И школы, и разговоры о невежестве, — это для того только, чтобы заглушить совесть, так как стыдно иметь пять или десять тысяч десятин земли и быть равнодушным к народу. («В родном углу»).

Ей крестьяне не верили; они всегда так думали, что она получает слишком большое жалованье — двадцать один рубль в месяц (было бы довольно и пяти), и что из тех денег, которые она собирала с учеников на дрова и на сторожа, большую часть она оставляла себе. Попечитель думал так же, как все мужики, и сам кое-что наживал с дров и за свое попечительство получал с мужиков жалованье, тайно от начальства. («На подводе»).

ФАБРИКА.

Здесь всегда пахло фабричными отбросами и уксусной кислотой, которую употребляли при выделке ситцев. Фабрики, — три ситцевых и одна кожевенная, — находились не в самом селе, а на краю и поодаль. Это были небольшие фабрики, и на всех их было занято около четырехсот рабочих, не больше. От кожевенной фабрики вода в речке часто становилась вонючей; отбросы заражали луг; крестьянский скот страдал от сибирской язвы, и фабрику приказано было закрыть. Она считалась закрытой, но работала тайно с ведома станового пристава и уездного врача, которым владелец платил по десяти рублей в месяц. Во всем селе было только два порядочных дома, каменных, крытых железом. («В овраге»).

Глядя на корпуса и бараки, где спали рабочие, он опять думал о том, о чем думал всегда, когда видел фабрики. Пусть спектакли для рабочих, волшебные фонари, фабричные доктора, разные улучшения, но все же рабочие, которых он встретил сегодня по дороге со станции, ничем не отличаются по виду от тех рабочих, которых он видел давно в детстве, когда еще не было фабричных спектаклей и улучшений.

«Тут недоразумение, конечно... — думал он, глядя на багровые окна. — Тысячи полторы-две фабричных работают без отдыха, в нездоровой обстановке, делая плохой ситец, живут впроголодь и только изредка в кабаке отрезвляются от этого кошмара; сотни людей надзирают за работой, и вся жизнь этой сотни уходит на записывание штрафов, на брань, несправедливость, и только двое-трое, так называемые хозяева, пользуются выгодами, хотя совсем не работают и презирают плохой ситец. («Случай из практики»).

Вы взгляните на эту жизнь: наглость и праздность сильных, невежество и скотоподобие слабых, кругом бедность невозможная, теснота, вырождение, пьянство, лицемерие, вранье... Между тем, во всех домах и на улицах тишина, спокойствие; из пятидесяти тысяч живущих в городе ни одного, который бы вскрикнул, громко возмутился. Мы видим тех, которые ходят на рынок за провизией, днем едят, ночью спят, которые говорят свою чепуху, женятся, старятся, благодушно ташат на кладбище своих покойников; но мы не видим и не слышим тех, которые страдают, и то, что страшно в жизни, происходит где-то за кулисами. Все тихо, спокойно, и протестует одна только немая статистика: столько-то с ума сошло, столько-то ведр выпито, столько-то детей погибло от недоедания. («Крыжовник»).

ГОРОД.

Ни сада, ни театра, ни порядочного оркестра; городская и клубная библиотеки посещались только евреями-подружками, так что журналы и новые книги по месяцам лежали неразрезанными; богатые и интеллигентные спали в душных, тесных спальнях, на деревянных кроватях с клопами, детей держали в отвратительно грязных помещениях, называемых детскими, а слуги, даже старые и почтенные, спали в кухне на полу и укрывались лохмотьями. В скоромные дни в домах пахло борщом, а в постные — осетриной, жареной на подсолнечном масле. Ели не вкусно, пили нездоровую воду.

... В городе ни одного честного человека, ни одного!..

... Приходили на память люди, которых медленно сживали со света их близкие и родные, припомнились замученные собаки, сходявшие с ума, живые воробьи, ошипанные мальчишками догола и брошенные в воду, и длинный, длинный ряд глухих, медлительных страданий, которые я наблюдал в этом городе непрерывно с самого детства.

«А вчера мне была выволочка. Хозяин выволок меня на двор и отчесал шпандырем за то, что я качал ихнего ребятенка в люльке и по нечаянности заснул. А на неделе хозяйка велела мне почистить сеledку, а я начал с хвоста, а она взяла сеledку и ейной мордой начала меня в харю тыкать. Подмастерья надо мной насмеяются, посылают в кабак за водкой и велят красть у хозяев огурцы, а хозяин бьет, чем попадя. А еды нету никакой. Утром дают хлеба, в обед каши и к вечеру тоже хлеба, а чтоб чаю или щей, то хозяева сами трескают. А спать мне велят в сенях, а когда ребяенок ихний плачет, я вовсе не сплю, а качаю люльку. Милый дедушка, сделай божедкую милость, возьми меня отсюда домой, на деревню, нету никакой моей возможности... Кланяюсь тебе в пожки и буду вечно Бога молить, увези меня отсюда, а то помру... («Ванька»).

Ночь. Нянька Варька, девочка лет тринадцати качает колыбель, в которой лежит ребенок и чуть слышно мурлычет... Душно. Пахнет щами и сапожным товаром. Ребенок плачет. А Варьке хочется спать. Спать нельзя; если Варька, не дай Бог, уснет, то хозяева прибудут ее...

... Она поднимает глаза и видит перед собой хозяина сапожника.

— Ты что же это, паршивая, — говорит он. — Дите плачет, а ты спишь?

Он больно треплет ее за ухо, она встряхивает головой, качает колыбель и мурлычет свою песню.

... Скоро утро.

— Варька, затопи печку! — раздается за дверью голос хозяина. Значит уже пора вставать и приниматься за работу. Она приносит дрова, топит печь.

— Варька, поставь самовар!

— Варька, почисть хозяину галоши.

— Варька, помой снаружи лестницу.

— Варька, ставь самовар.

— Варька, сбегай купить три бутылки пива.

— Варька, сбегай за водкой. Варька, где штопор? Варька, почисть сеledку.

— Варька, покачай ребенка.

... Варька находит врага, мешающего жить. Этот враг — ребенок. Убить ребенка, а потом спать, спать, спать. Смеясь, Варька подкрадывается к колыбели и наклоняется к ребенку. Задушив его, она быстро ложится на пол, смеется от радости, что ей можно спать и через минуту спит уже крепко, как мертвая. («Спать хочется»).

Вдруг послышался плач. Из соседней комнаты, куда лакей понес сельтерскую, быстро вышел какой-то блондин с красным лицом и сердитыми глазами. За ним шла высокая, полная хозяйка и кричала визгливым голосом:

— Никто вам не позволял бить девушек по щекам! У нас бывают гости получше вас, да не дерутся! Шарлатан!

Поднялся шум. Васильев испугался и побледнел. В соседней комнате плакали навзрыд, искренно, как плачут оскорбленные. И он понял, что в самом деле, тут живут люди, настоящие люди, которые, как везде, оскорбляются, страдают, плачут, просят помощи... Тяжелая ненависть и гадливое чувство уступили свое место острому чувству жалости и злобы на обидчика. Он бросился в ту комнату, где плакали; сквозь ряды бутылок, стоявших на мраморной доске стола, он разглядел страдальческое, мокрое от слез лицо, протянул к этому лицу руки, сделал шаг к столу, но тотчас же в ужасе отскочил назад. Плачущая была пьяна. («Припадок»).

Культурная жизнь у нас еще не начиналась. Старики утешают себя, что если теперь нет ничего, то было что-то в сороковых или шестидесятых годах; это — старики, мы же с вами молодцы, наших мозгов еще не тронул *marasmus senilis*, мы не можем утешать себя такими иллюзиями. Начало Руси было в 862 году, а начало культурной Руси, я так понимаю, еще не было... («Моя жизнь»).

Лаптевы в Москве вели оптовую торговлю галантерейным товаром, бахромой, тесьмой, аграмантом, вязальной бумагой, пуговицами и проч. Валовая выручка достигала двух миллионов в год; каков же был чистый доход, никто не знал, кроме старика. Сыновья и приказчики определяли этот доход приблизительно в триста тысяч.

Тут каждая мелочь напоминала ему о прошлом, когда его секли и держали на постной пище; он знал, что и теперь мальчики секут и до крови разбивают им носы, и что, когда эти мальчики вырастут, то сами тоже будут бить. И достаточно ему было пробыть в амбаре полчаса, как ему начало казаться, что его сейчас обругают или ударят по носу. Он никак не мог забыть, как лет пятнадцать назад один приказчик, заболевший психически, выбежал на улицу в одном нижнем белье, босой и, грозя на хозяйские окна кулаком, кричал, что его замучили; и над беднягой, когда он потом выскочил, долго смеялись и припоминали ему, как он кричал на хозяев «плантаторы» вместо «эксплуататоры». Вообще служащим жилось у Лаптевых очень плохо и об этом давно уже говорили все рады. Ничто не запрещалось приказчикам прямо, и потому они не знали, что дозволяется и что — нет. Им не запрещалось жениться, но они не женились, боясь не угодить своей женьбой хозяину и потерять место. Им позволялось иметь знакомых и бывать в гостях, но в девять часов вечера уже запирались ворота, и каждое утро, хозяин подозрительно оглядывал всех служащих и испытывал, не пахнет ли от кого водкой: «А, ну-ка, дыхни».

Каждый праздник служащие обязаны были ходить к ранней обедне и становиться в церкви так, чтобы их всех видел хозяин. Посты строго соблюдались. В торжественные дни, например, в именины хозяина, или членов его семьи, приказчики должны были ко подписке подносить сладкий пирог от Флея или альбом. Жили они в нижнем этаже дома на Пятницкой, и во флигеле. Помещались по трое и четверо в одной комнате, и за обедом ели из общей миски, хотя перед каждым из них стояла тарелка. Если кто из хозяев входил к ним во время обеда, то все они вставали. («Три года»).

«Богоугодное заведение» находилось в ужасном состоянии. В палатах, коридорах и в больничном дворе тяжело было дышать от смрада. Больничные мужики, сиделки и их дети спали в палатах вместе с больными. Жаловались, что житья нет от тараканов, клопов и мышей. В хирургическом отделении не переводилась рожь. На всю больницу было только два скальпеля и ни одного термометра. В ваннах держали картофель. Смотритель, кастелянша и фельдшер грабили больных, а про старого доктора, предшественника Андрея Ефимича, рассказывали, будто он занимался тайной продажей больничного спирта и завел себе из сиделок и больных женщин целый гарем. В городе отлично знали про эти беспорядки, но относились к ним спокойно; оправдывали тем, что в больнице ложатся только мещане и мужики, которые не могут быть недовольны, так как дома жилось гораздо хуже, чем в больнице; не рьяниками же их кормить! («Палата № 6»).

Вокзал строился в пяти верстах от города. Говорили, что инженеры за то, чтобы дорога подходила к самому городу, просили взятку в пятьдесят тысяч, а городское управление согласилось дать только сорок, разошлись в десяти тысячах, и теперь горожане раскисались, так как

предстояло проводить до вокзала шоссе, которое по смете обходилось дорожке. («Моя жизнь»).

ЛЮДИ В ГОРОДАХ.

Беликов был замечателен тем, что всегда, даже в очень хорошую погоду, выходил в калошах и с зонтиком и непременно в теплом пальто на вате. И зонтик у него был в чехле, и часы в чехле из серой замши, и когда вынимал перочинный нож, чтобы очинить карандаш, то и нож у него был в чехольчике; и лицо, казалось, тоже было в чехле, так как он все время прятал его в поднятый воротник. Он носил темные очки, фуфайку, уши закладывал ватой и, когда садился на извозчика, то приказывал поднимать верх. Одним словом, у этого человека наблюдалось постоянное и непреодолимое стремление окружить себя оболочкой, создать себе, так сказать, футляр, который уединил бы его, защитил бы от внешних влияний.

И мысль свою Беликов также старался запрятать в футляр. Для него ясны только циркуляры и газетные статьи, в которых запрещалось что-нибудь. Когда в циркуляре запрещалось ученикам выходить на улицу после девяти часов вечера, или в какой-нибудь статье запрещалась плотская любовь, то это было для него ясно, определенно; запрещено — и баста. В разрешении же и позволении скрывался для него всегда элемент сомнительный, что-то недосказанное и смутное.

Учителя боялись его. И даже директор боялся. Вот, подите же, учителя народ все мыслящий, глубоко порядочный, воспитанный на Тургеневе и Щедрина, однако же, этот человечек, ходивший всегда в калошах и с зонтиком, держал в руках всю гимназию целых пятнадцать лет! Да что, гимназию? Весь город! Дамы по субботам домашних спектаклей не устраивали, боялись, как бы он не узнал; и духовенство стеснялось при нем кушать скоромное и играть в карты. Под влиянием таких людей, как Беликов, за последние десять-пятнадцать лет в городе стали бояться всего. Боятся громко говорить, посылать письма, знакомиться, читать книги, бояться помогать бедным, учить грамоте... («Человек в футляре»).

... Называют себя интеллигенцией, а прислуге говорят «ты», с мужиками обращаются, как с животными, учатся плохо, серьезно ничего не читают, ровно ничего не делают, а о науках только говорят, в искусстве понимают мало. Все серьезные, у всех строгие лица, все говорят только о важном, философствуют, а между тем, громадное большинство из нас, девяносто девять из ста, живут, как дикири, чуть что — сейчас зуботычина, брань, едят отвратительно, спят в грязи, в духоте, везде клопы, смрад, сырость, нравственная нечистота... («Вишневый сад»).

Сегодня утром рано зашел на кухню, а там четыре прислуги спят прямо на полу, кровати нет, вместо постелей лохмотья, вонь, клопы, тараканы... То же самое, что было двадцать лет назад, никакой перемены. Никто ничего не делает. Мамаша целый день только гуляет, как гердогиня какая-нибудь, бабушка тоже ничего не делает, вы — тоже. И жених, Андрей Андреевич, тоже ничего не делает.

— Вчера, Саша, ты помнишь, упрекнул меня в том, что я ничего не делаю. Что же, он прав! Бесконечно прав! Я ничего не делаю и не могу делать. Дорогая моя, отчего мне так противна даже мысль о том, что я когда-нибудь нацеллю на лоб кокарду и пойду служить? Отчего мне так не по себе, когда я вижу адвоката, или учителя латинского языка, или члена управы? О, матушка Русь! О, матушка Русь, как еще много ты носишь на себе праздных и бесполезных! Как много на тебе таких, как я, многострадальная!

И то, что он ничего не делал, он обобщал, видел в этом знамение времени. («Невеста»).

Лавский — довольно несложный организм. Вот его нравственный остов: утром туфли, купанье и кофе, потом до обеда туфли, моцион и



БОР. ЕФИМОВ.

Околоточный Очумелов и городской Елдырин. (Рассказ «Хамелеон»).

разговоры, в два часа туфли, обед и вино, затем винт и лганье, в десять часов ужин и вино, а после полуночи сон и la femme. Существование его заключено в эту тесную программу, как яйцо в скорлупу. Идет ли он, сердится, сидит ли, пишет, радуется — все сводится к вину, картам и женщине. Женщина играет в его жизни роковую, подавляющую роль. Он сам повествует, что 13 лет он уже был влюблен; будучи студентом первого курса, он жил с дамой, которая имела на него благотворное влияние и которой он обязан своим музыкальным образованием. Во втором курсе он выкупил из публичного дома проститутку, и возвысил ее до себя, то-есть взял в содержанки, а она пожила с ним полгода и убежала назад, к хозяйке, и это бегство причинило ему не мало душевных страданий. Увы, он так страдал, что должен был оставить университет и два года жить дома без дела. Но это к лучшему. Дома он сошелся с одной вдовой, которая посоветовала ему оставить юридический факультет и поступить на филологический. Он так и сделал. Кончив курс, он страшно полюбил теперешнюю свою... как ее? Замужнюю, и должен был бежать с нею сюда на Кавказ, за идеалами, якобы. Не сегодня, завтра он разлюбит ее и убежит назад в Петербург, и тоже за идеалами. («Дуэль»).